Двадцатый век Бориса Васильева

Культура. – 2004. – 7 июля. – С. 5

Русская интеллигенция всегда противостояла русскому обывателю

Открывая новую книгу Бориса Васильева, каждый раз следует готовиться к встрече с неожиданностью. Но его воспоминания "Век необычайный" (Москва: "Вагриус", 2003) способны поразить и постоянного читателя Васильева.

Давних поклонников его творчества, которые помнят роман "Не стреляйте в белых лебедей" о сельском "чудаке", пытающемся жить в гармонии с природой, написанный вроде бы вполне в духе этического и эстетического поиска "деревенской прозы", наверное, удивит его отношение к деревенской культуре: "Власть большевиков в конечном итоге выродилась во власть обывателей с крестьянской психологией, освобожденной от христианской морали. Устройство родственников и земляков на должности, предоставление им мелких льгот – признак все той же крестьянской культуры, подмявшей под себя дворянский менталитет России с его долгом перед Отечеством, а не перед соседом по хате".

Читателю или хотя бы зрителю его "военных" вещей могут показаться совершенно неожиданными (мне, например, показались) следующие строки из его воспоминаний: "Как-то интервьюер меня спросил, не видел ли я, как мои пули попадают в немцев. Я ответил, что не только не видел, но и очень надеюсь, что вообще не попадал ни в кого. Конечно, у войны – да еще такой, как наша Великая Отечественная – свои законы, но все-таки мне легче будет умирать".

Своя великая война

Несколько лет назад Борис Львович в одном выступлении признался, что о себе ему писать неинтересно. И что поэтому автобиографическая вещь у него всего одна, очень небольшая – "Летят мои кони…" (1982). Как ни странно, но вышедшая недавно новая книжка воспоминаний предшествующему утверждению совсем не противоречит.

Из всех мемуаров, доселе изданных "Вагриусом" в серии "Мой XX век", вероятно, наиболее точно соответствуют общему ее замыслу именно васильевские. Они не столько о себе, сколько о той эпохе, в которую довелось родиться и жить писателю, причем исследуемой с самых ее истоков – то есть с начала века. Отсюда и жанр произведения: полухудожественный-полупублицистический, и то, что ровно половина книги посвящена рассказу о двух предшествующих поколениях – о родителях и дедушках-бабушках автора.

Многое договаривает эта книга в, с моей точки зрения, главном, пока еще недооцененном двадцатилетнем труде писателя – "Саге об Олексиных", серии романов о столетней истории одной семьи, прототипами героев коей послужили предки Васильева, прежде всего по материнской линии. Это как бы постскриптум ко всему эпосу, в принципе в него не входящий, но, бесспорно, его дополняющий.

Многие ключевые автобиографические главы (когда бы они ни были написаны) "Века" не могли быть опубликованы в советские времена априори. А они из самых сильных, впечатляющих в книге: это и военные страницы, и, скажем, воспоминания о том, как в 20-е годы советские власти в поисках золота разрывали могилы на кладбище на глазах мальчика ("Глянь, зуб золотой и перстень"), и рассказ о том, как Васильев отказался выступить на партсобрании с докладом, клеймящим "евреев-убийц в белых халатах", и как после этого его отовсюду исключали и увольняли – вплоть до смерти Сталина.

Наверное, не было в русской истории XX века события, так повлиявшего на ее дальнейшее поступательное развитие, в том числе и литературное, нежели сия кончина. И если для Васильева и его писательской карьеры она была просто счастливой случайностью, то, скажем, для писателя-лагерника Льва Разгона уже четко осознанной целью: "Я держался сознанием того, что если переживу Сталина, то останусь цел, и что я живу в соревновании с ним. И вот это соревнование я 45 лет тому назад выиграл. Это мой праздник".

Кстати, Разгон вспомнился мне при чтении "Века" еще раз. Описывая свою "зэковскую" жизнь, Лев Эммануилович, открыто полемизируя с Солженицыным, утверждал, что образованность была в зоне не минусом, а плюсом, поскольку властям – даже лагерным – все равно требовались для определенных работ люди знающие. Другое дело, что использовали его не как литератора, а как человека, хорошо разбирающегося в математике. И в то самое время, когда его знания помогали Разгону выжить в лагере, то, чему научили юношу Бориса книги и отец, помогало ему продержаться на фронте. Пробираясь в окружении, он поддерживал свои силы едой, питаться которой другим бойцам даже не приходило в голову, – и разными травами, и пойманным ужом. "Я столь подробно пишу об этом, потому что легче перенес голодовку в окружении, чем многие ребята. Нет, я не был крепче – они были куда посильнее меня, – просто я обладал более высокой степенью культуры. Ведь одно из свойств общечеловеческой культуры и состоит в отсутствии предрассудков".

Широкому читателю Борис Васильев, отчасти не совсем справедливо, известен прежде всего (а кому-то вообще только) как писатель о войне. Многие из коллег, бывших фронтовиков, получив в постсоветские времена возможность полной свободы говорения, отчаянно пытались успеть досказать всю, не ограниченную теперь цензурными запретами правду о Великой Отечественной войне. Скажем, из четырех последних вещей Адамовича две целиком посвящены войне, еще одна – воспоминания о детстве и юности – наполовину.

Полагаю (когда речь идет о Борисе Львовиче, категорические утверждения особо неуместны), с Васильевым дело обстоит не совсем так. По крайней мере, это и не главное направление в его творчестве последних лет, и не главная тема его мемуаров. Но то, что в них представлено, это, бесспорно, *своя война*, свой опыт боевых действий, в чем-то противоречащий и основному массиву книг о Великой Отечественной войне, и даже отчасти его собственным, более ранним произведениям. Не могу сказать, что такие понятия, как "героизм" и "подвиг" в "Веке" совсем пропали или приобрели присущий литературе последнего десятилетия "чернушечный" оттенок, но получили какое-то новое звучание.

Когда в результате многомесячной подготовки десантника сбрасывают на парашюте на территорию противника, он пробегает несколько шагов, подрывается на мине, получает тяжелое ранение и навсегда выходит из войны, – назвать это героизмом мудрено, тут уже что-то другое, наверное, "всего лишь" честное исполнение человеком своего долга. Но разве этого мало, чтобы попасть в число героев Великой Отечественной? Когда – возвращаясь к выходу из окружения Б.Л. вместе с бойцами из разных разбитых подразделений – эта группа случайно оказывается на месте боя, где "умирает сейчас окруженная войсковая часть, сумевшая сохранить и боеспособность, и волю к сопротивлению", то чего ожидает от "наших" воспитанный на советской военной литературе и сам никогда не воевавший читатель? Того, что эти несколько десятков плохо вооруженных человек бросятся на помощь своим и либо помогут им вырваться из окружения, либо погибнут вместе с ними.

А вот война реальная. Когда командир отдал приказ: "Лежать. Ждать команды. Ничем себя не обнаруживать"… среди ребят раздался ропот. Никто не понимал, зачем нам рисковать, когда надо "рвать когти", пока немцы заняты боем. Судя по всему, нам нужно 60 лет, чтобы осознать, что немалое мужество требуется и для того, чтобы не убежать и подождать возможных уцелевших (таких там оказалось восемь) из уничтожаемой на твоих глазах части.

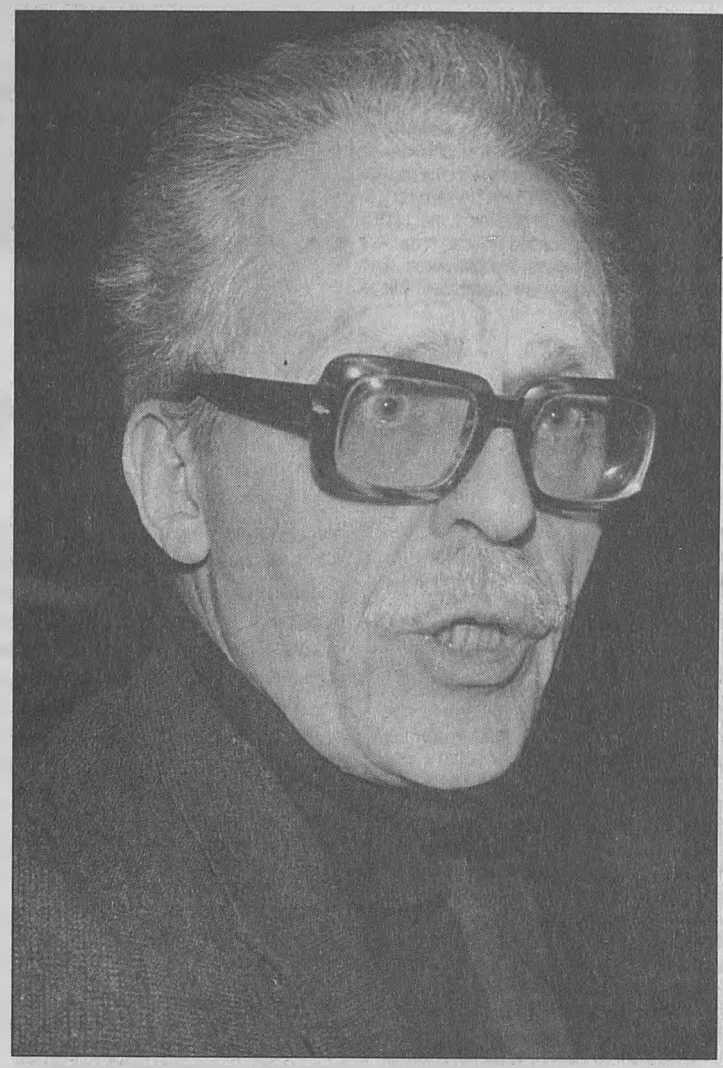
Нетипичный "шестидесятник"

Нельзя сказать, чтобы и "Век", и вообще творчество Бориса Васильева выпадали из общего процесса нравственных исканий русской литературы последних десятилетий, – множество точек пересечения легко найти и с Разгоном, и с Адамовичем, и с Астафьевым и с "деревенщиками", и со многими, многими другими. И по формальным признакам писателя вполне можно отнести к "шестидесятникам", вот только без слова "типичный".

Но когда обращаешься не к художественным текстам, а к публицистике Васильева, любую подмену собой автора исключающей, несовпадение по ряду принципиальных вопросов, причем с самым ближним кругом, становится очевидным. Речь здесь идет не о художническом своеобразии, а прежде всего о том, что такое хорошо и что такое плохо по Васильеву.

И тут первая половина "Века", где он рассказывает об отце, матери, дедушках и бабушках, оказывается важнее для понимания феномена Бориса Васильева, его отношения к миру и России, чем, собственно, та, где он рассказывает о себе. И на первое место там выходит отец, офицер сначала царской, а затем Советской армии: он сам, его личный пример служения Родине и прививаемый им маленькому Борису имеющий многовековые российские традиции офицерский кодекс чести. "Я родился в год смерти Ленина, и меня воспитывали еще по старинке, как то было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я, безусловно, человек конца XIX столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неумению врать".

Самое интересное, что если на все написанное им ранее взглянуть теперь, то легко убедиться, что Борис Львович и до того никогда не скрывал свою систему нравственных и духовных ценностей и что она



Б.Васильев

излагается не столь подробно и не столь последовательно, как сейчас, начиная с самых первых его серьезных публикаций. Просто нужна была именно последняя книга, в которой сконцентрированы, собраны вместе, отчасти, наверное, продуманные еще раз, наново, разбросанные по десяткам романов, повестей, рассказов размышления автора по главным, принципиальным для него вопросам – о роли и значении русской интеллигенции в национальной истории, о таких понятиях, как Долг, Честь, Достоинство, Родина, Россия.

И в вечном нашем споре о положительном герое Васильев находит для себя такого – целый слой дворянской офицерской (прежде всего, но не только) интеллигенции, уничтожаемой большевиками практически на протяжении всего XX века. Отсюда и кажущиеся столь резкими слова в адрес Чехова: "Нет, русская интеллигенция – совсем не аморфные, кисло-сладкие мечтатели Чехова. Антон Павлович, как мне кажется, всю жизнь втайне завидовал настоящей русской дворянской интеллигенции, но, будучи мещанином города Таганрога, и помыслить не мог о причастности к ней. И изливал самого себя в своих беспомощных героях, поскольку дворянская интеллигенция России всегда ставила долг перед Отечеством на первое место. Она ощущала свою огромную ответственность перед прошлым, поскольку вся русская культура была дворянской".

В условиях, когда 90 процентов выпускаемых книг составляет продукция так называемой массовой культуры, этот спор может выглядеть сейчас вроде бы пустячным. И зря. Книга Васильева возвращает нас не только к истории его возникновения, но и к сути конфликта, приведшего страну в конце концов к 1917 году. Да и вопрос о том, каким должен быть образованный человек в твоей стране, вряд ли вообще когда-либо утратит свою актуальность. И васильевское деление интеллигенции на роды и виды основано все-таки не на классовой принадлежности (дворянин – недворянин), а главным образом, на степени ответственности человека за происходящее вокруг и за то дело, которое ты делаешь, со всеми его возможными последствиями. Интеллигентом может быть любой: и рабочий, и крестьянин (в романе "Не стреляйте в белых лебедей" главный герой, крестьянин Егор Полушкин, для автора, бесспорно, интеллигент), но дворяне и офицеры выделяются для Васильева в дореволюционной России именно своим обостренным чувством ответственности и именно как слой, а не как отдельные личности. Отдельные личности остались, а слой этот в стране исчез. Именно по этому критерию проходит, согласно Васильеву, водораздел между интеллигенцией и советскими специалистами с высшим образованием: "Ведь необходимость и сила русской интеллигенции была в ее понимании своего гражданского долга перед Родиной, а не просто в исполнении тех служебных функций, которые столь характерны для западных интеллектуалов и которые силой насаждала советская власть… Своеобразие народа, его менталитет и нравственная общность определяются позицией интеллигенции. Уберите ее, и вы получите специалистов узкого профиля, скорее исполняющих роль интеллигенции, нежели являющих ее. Это советские специалисты-выдвиженцы погубили Волгу, превратив ее в цепь вялотекущих загнивающих водохранилищ. Это с их помощью Россия потеряла всю свою пресноводную сельдь. Всех преступлений против собственного народа, совершенных советскими специалистами, перечислить невозможно".

Отсюда, из четких требований ответственности человека за то, что он делает, и даже за то, что он не делает, и появление в нашей литературе его "страшных рассказов", где Васильевым были уловлены еще в стадии их становления тенденции к нравственной деградации общества. Отсюда, изначально, из детства, еще отцом заложенное презрение к деньгам и материальным благам и сохраненное, пронесенное через всю жизнь стремление к иного рода ценностям: "Совсем недавно – 60-е годы. В полном разгаре потрясавшая своими масштабами лакейская, потная, натужная борьба за престижность… Сами можете подставить свои примеры выхода сытого мещанина в дубленке и при личной машине, оттеснившего усталых интеллигентов на авансцену жизни".

"Век необычайный" – это не только наша история на протяжении века и не только история (судьба) русской интеллигенции. Это и история противостояния русской интеллигенции своему времени. О том, как он шел в писатели через войну, сталинщину и запреты советской власти, Борис Васильев рассказал в своей последней книге достаточно подробно.

А вот о результате другого его противостояния – "сытому мещанину" – приходится догадываться. И не столько из самой книги, сколько из сравнения ее с предшествующими: и по тому, как от произведения к произведению все крепче и прочнее врастает Васильев в свой, ныне уже позапрошлый век, и по тому, как он смотрит в будущее. Вот два таких размышления писателя о грядущем из двух его автобиографических книг, разделенных двадцатью годами.

2003 г.: "Если подытожить прожитое мною время, то можно утверждать, что я родился в среде провинциальной интеллигенции, большую часть жизни просуществовал при советской интеллигенции (то есть интеллигенции вне национальности, а стало быть, и вне какой бы то ни было национальной культуры), а помирать мне, видимо, придется при полном торжестве российского обывателя. Тому доказательство – тоска, которую я испытываю, слушая речи наших депутатов, доклады наших генералов, комментарии ведущих почти всех телевизионных программ, и густой заряд обывательщины в самом простом, старорусском смысле этого слова, который извергается с экранов ТВ ежевечерне".

1982 г.: "Мне представляется, что писатель – Творец. У него огромная, божественная власть в мирах, сотканных им из собственной бессонницы, и значит, он должен быть справедлив, как высший судия. А справедливость – это победа добра. И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на всех доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе все бессмысленно. И я верю – оно восторжествует, потому что мои мечты всегда сбывались".

Павел НУЙКИН